

В нашу жизнь люди приходят по-разному. Бывает, придут, посидят, как в автобусе, и выйдут на очередной остановке. С Олегом Пащенко мы вместе проехали столько остановок, дай бог вспомнить. Познакомились, уже будучи взрослыми людьми, на приёмных экзаменах в Иркутский государственный университет на факультет журналистики. К тому времени я уже был командиром корабля самолёта Ан-26, Олег — ответственным секретарём Козульской районной газеты «Авангард». Кстати, многие из абитуриентов уже работали корреспондентами в газетах Якутии, Забайкалья, Новосибирска, Бурятии, Омска и Кузбасса. Особняком держались вчерашние школьницы, которые с некоторым удивлением поглядывали на солидных, знающих себе цену «газетных волков». Один из таких — Олег Пащенко. Он приехал из Красноярского края, худощав, одет в тёмный костюм и красную рубашку, на подбородке ямочка, взгляд из-под бровей быстрый, оценивающий. Внешне всегда отличался спокойствием, неторопливостью, не навязывал себя другим, заходил в аудиторию как к себе домой, и было видно, что парень знает себе цену.

Во время сдачи экзаменов приехавший поступать в университет фотокорреспондент из Норильска (по фамилии Карасёв), не стеснясь, пытался сдавать экзамены с помощью фотовспышки. К сожалению, на сочинении этот приём дал сбой. Узнав, что ему поставили неуд, Карасёв с досады покряхтел, почесал репу и, забрав документы, поехал в иркутский аэропорт, чтобы улететь обратно в Норильск. Но судьба была благосклонна к абитуриенту. К нам, поблескивая очками, подошёл преподаватель Виталий Зоркин и спросил, где тот парень с фотоаппаратом, у потерпевшего есть возможность подать апелляцию и пересдать экзамен.

— Ребята, надо как-то сообщить ему, — сказал Пащенко.

— Да он уже, наверное, улетел, — предположил кто-то из девчонок.

У меня был телефон информационной службы иркутского аэропорта. Я тут же позвонил из автомата и, узнав, что рейс задерживается, попросил дикторшу, чтобы она пригласила Валерия Карасёва к справочной, и, выскочив на улицу, поймал такси и помчался в аэропорт.

Через полчаса мы с беглецом уже ехали обратно в университет. Экзамен Карасёв сдал, и стал нашим другом и сокурсником. Многими фотоснимками того времени мы обязаны ему.

А с Пащенко наши отношения не заладились. Мы встречались в аудитории, даже иногда кивали друг другу и рассаживались по своим местам, и после, даже не разговаривая, расходились, каждый по своим делам. У меня, тогда уже привыкшего к авиационному товариществу, такая подчёркнутая отстранённость вызвала некоторую оторопь: чего на пустом месте огород городить? Немного позже я понял, что здесь каждый как бы сам по себе, и ждать, что тебе во время экзаме-

на, или при подготовке к нему, бросятся на помощь, не приходилось. Что ж, все, должно быть, привыкли, что под статьёй или очерком стоит его фамилия, значит, и отвечать за всё написанное придётся самому.

Первым моим товарищем на курсе стал Сергей Кузнецов, невысокий, бело-брысый авиатехник из Абакана. Он решил попробовать себя в журналистике, но, получив через шесть лет диплом, пошёл по проторённой дорожке, стал бортмехаником на вертолётё, и большую часть жизни провёл в полярной авиации, так и не написав ни строчки.

Приезжая на сессию, Кузнецов останавливался в одном номере с Анатолием Статейновым. Если с Кузнецовым нас связывало небо, самолёты и вертолётё, то Статейнов, окончив ветеринарный техникум, должно быть, про себя решил, что с коровами он ещё разберётся, а как разобраться и понять тех, кто делает жизнь, и потом рассказать о них, — вот для этого он и приехал учиться на журналиста. Первое, что бросалось в глаза, — усы Анатолия и большой нос, да, пожалуй, ещё глаза, казалось, они сторожат не только тебя, но и окружающее пространство. В них время от времени мелькал хитроватый огонёк, мол, вы здесь все городские, считаете себя умными, но и мы, деревенские, не лыком шиты. И позже, слушая его деревенские байки, я думал, что такой не поморщится и всадит шприц не только корове или бычку. Сидит слушает нас, ёрзает на месте, как на сковородке, затем не вытерпит, вскочит: «А вот у нас был такой случай!..» Ещё я подметил, чем Толя подкупал слушателей: рассказывая ярко, образно, он не жалел ни себя, ни отца родного. Особенно забавляли байки о его родном селе Татьяновка, что находилось в Красноярском крае.

— У нас все, кто имеет такой же, как у меня, нос, обязаны моему папе, — поблёскивая глазами, с редким простодушием, но не без умысла, признавался он. — После войны мужиков в нашей Татьяновке — раз-два и обчёлся. Вот и пришлось ему исправлять демографическую ситуацию. И даже, говорят, перевыполнял план! За что не раз был нещадно бит, но татьяновские бабы всё равно питали к нему какую-то непонятную приязнь. Росту отец был невысокого, но как начнёт говорить — заслушаешься! Умел себя преподнести. В деревне прозвище у него было Чурка. Думаю, шло это от конкурентов. Ну, естественно, часто пил горькую, ею гасил вину за своё непотребство, а напившись, чуть ли не на коленях просил прощения у тех, перед кем считал себя виноватым. А вот к старости что-то стукнуло ему в голову — занялся мой папаня философией. Завёл книжную полочку, на которой у него стояли Гегель, Фейхтвангер, Дидро, работы Карла Маркса. Но особенно он почитал русского мыслителя Николая Фёдорова, которого нередко называли московским Сократом. Он даже над полкой вывесил его высказывание: «Сущность православия заключается в долге воскресения!»

«Мы ещё вернёмся на грешную землю! — поднимая палец, с серьёзным лицом говорил родитель. — Возможно, в наших детях». Хотел воскреснуть и посмотреть, что стало после него, — делал вывод Толя. — Деревенские, видимо, поняв, что мужик просто так не станет читать мудрёные книги и заводить разговоры о бытии и вечности, перестали обзывать его обидным прозвищем, оно само собой и отвалилось за ненадобностью. А местные бабёнки и вовсе махнули на него рукой — кому нужен философ, это всё равно что двигатель без коленвала.

Вскоре Толя показал рукопись своей повести. В ней он описывал, как по тайге из лагеря бегут заключённые, матёрые убийцы и грабители. Мне она понравилась колоритными диалогами героев и динамизмом происходящих событий. Мно-

го позже Статейнов откроет в Красноярске своё издательство и будет выпускать книги, которые разойдутся по всему миру. И сам напишет самобытные повести и рассказы и выпустит несколько своих книг. В центре повествования будет его родное село Татьянаовка, где основными читателями станут его родные и близкие ему люди.

А вот первый раз по-дружески с Олегом Пащенко мы поговорили уже на втором курсе, когда нас пригласила к себе в гости наша методистка Лидия Владимировна Носанова. Она была немного старше нас, умна, по-девичьи стройна, держалась с нами просто, но строго, и мы её обожали. Именно она сделала многое, чтобы мы стали на курсе одной командой. За столом мы оказались рядом с Пащенко, разговорились и быстро выяснили, что в футболе боеем за одну и ту же команду, любим прозу Василия Шукшина, его деревенских чудиков, и у нас много общего: почти один возраст и схожие оценки того, что происходит в стране и мире. И дальше мы уже сошлись настолько, что, прилетая в Красноярск, я звонил Олегу, он приезжал в аэропорт, передавал Лидии Владимировне контрольные работы, и мы, всё так же на ходу переговорив, прощались до очередной сессии.

Олег приезжал в Иркутск, останавливался в гостинице «Сибирь», я заходил к нему в номер, он доставал кипятильник и заваривал чай — с улицы, с холода и для разговора самое то. Засиживались у него подолгу, он рассказывал о себе, о своей большой семье, о родителях.

— Моя мама, Александра Фроловна (девичья фамилия — Богатина), была сержантом-радиостройкой, участницей Сталинградской битвы, — торопливо, как бы боясь что-то пропустить, рассказывал Олег. — А батя, Анатолий Иванович Пащенко, был выпускником Черкасского педагогического техникума, затем после начала войны окончил ускоренные офицерские курсы и стал зенитчиком. С моей мамой они познакомились в Кёнигсберге, там у них закрутилась любовь. После войны отец каким-то чудом разыскал свою фронтовую подружку и уже вместе с ней начал колесить по всей стране. — Олегу запомнились хмельные выходки отца, ссоры и театральные примирения. И постоянные нехватки в семье, где бы они ни находились — в Краснодарском крае, на Украине, в Татарстане или в Сибири. Особый случай произошёл где-то в Новой Письмянке, отца будто бы проиграли в карты, и среди ночи к ним в комнату начали ломиться (как бы сейчас сказали «коллекторы»), пытаясь выбить дверь топором. Соседи, услышав крики малышей, вызвали милицию. Вскоре отец завербовался, и они уехали в Красноярский край. В чём-то рассказ Олега напоминал мне рассказы Толи Статейнова, который живописал деревенскую жизнь крупными мазками, всё как есть. Отсюда, из иркутской гостиницы, Олег оглядывал своих близких, себя — с понятной и снисходительной иронией и любовью, даже его детские слабости напоминали мои собственные.

Помнится, как после очередных наших воспоминаний я прочитал Олегу стихи Анны Ахматовой:

*Когда б вы знали, из кого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.*

От журналистики до писательства шаг непростой, а на деле — огромный. Во-первых, на это надо решиться. Во-вторых, чувствовать в себе силы, и я бы сказал, наглость заявить о себе своим видением мира и прийти к читателю со сво-

им словом. К тому времени упавший с небес в журналистику, я мог похвастаться знакомством и даже общением с Распутиным, Шугаевым и Машкиным, которые на конференции «Молодость. Творчество. Современность» с серьёзными лицами, споря друг с другом, долбали мой опус, который я самонадеянно назвал повестью, и которую впоследствии переделывал и переписывал одиннадцать раз. Это был хороший урок и учёба. Сжав зубы, я переделывал её раз за разом, попутно писал зарисовки и очерки о своих лётных встречах и впечатлениях, приносил их в «Восточку», и заведующий отделом спорта и информации Володя Ивашковский тут же ставил их в номер. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо Володе! Кроме того, в «Уральском следопыте» и «Полярной звезде» уже были опубликованы мои первые рассказы. Но и шишек иркутские писатели уже набили мне предостаточно.

Однажды прихожу в номер к Статейнову, смотрю — на кровати лежит свежий номер журнала «Литературная учёба», в котором псковский критик Валентин Курбатов разбирает мою повесть, отмечает промахи и недостатки. Не скажу, что прочитанное меня порадовало, но я понял главное: учился не только я, но на этих промахах учились и мои сокурсники. Тогда, во времена учёбы в Иркутском университете, мы ещё не знали, что будет с каждым из нас, но в общении много говорили о тех, кто был на слуху, кого знала вся читающая Россия: Николай Рубцов, Василий Белов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Евгений Носов. Почти на бегу, чаще всего чтобы сдать экзамены, читали и зарубежную литературу: Фолкнера, Кафку, Пруста, Ремарка, Томаса Манна, «Золотого осла» Апулея. Старались не пропускать лекции наших преподавателей: Леонида Степановича Любимова, Леонида Леонтьевича Ермолинского, Павла Викторовича Забелина...

Приезжих студентов в первую очередь интересовал живущий в Иркутске Валентин Распутин. Как-то в Союзе писателей я познакомил Олега с Валентином Григорьевичем, и позже между ними завязалась дружеская переписка. Был и такой случай: Распутин на поезде ехал из Москвы, я сообщил Олегу номер поезда, и они вместе с женой Галей во время краткой остановки к большому удивлению Валентина принесли ему горячих пирогов.

К тому времени, уже привыкший оценивать и определять людей мерками кабины самолёта, я понял, что журналисты и писатели не укладываются в привычные моему глазу шаблоны. И мой тогдашний взгляд не всегда был зорким для понимания окружающего мира. Много позже пришёл к выводу, что я сам, да и сидящие рядом в пилотской кабине, по сути своей, были теми же пахарями, которые приставлены к плугу, чтобы бороздить воздушные поля, и даже набор слов, которыми пользовались мы в своей работе, был строго регламентирован: это можно, а другое — упаси Господь! Такова специфика работы. Всё остальное, что было за рамками нашего понимания, что происходило, когда мы, покинув кабину, окунались в обыденную жизнь, казалось нам мелким и ненужным: лошадь, вернее мотор, тянет вперёд, лемех переворачивает землю, а кто будет собирать созревший урожай — не наше дело. Уже осознанно прикоснувшись к литературе, я начал делать для себя маленькие открытия, ведь Анна Ахматова самолётов не водила, бычков и коров обходила стороной, но стихи писала — заслушаешься:

*Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей...*

Журналист, да и вообще пишущий человек, должен раскрываться, обнажать себя. Подглядывать и кричать на прохожих через форточку или из-за забора — не его удел. Журналистика — дело индивидуальное, но именно пишущие и рассказывающие о происходящих в стране новостях, как говорят, держат руку на пульсе. Это те самые работники «почты» и «телеграфа», которые замешивают бетон под фундамент существующей власти. Разглядывая и стараясь понять журналистскую и писательскую братию, я открывал для себя, что есть простодушные, открытые люди. Но есть и притаившиеся, которые до поры до времени сидят как бы в засаде, не раскрывая и не выдавая свои симпатии и предпочтения, наблюдают, раздумывают, взвешивают, а уж потом, как мистер Икс, сняв маску, выходят на сцену. Сначала Олег для меня был одним из таких: сидит, молчит, наблюдает, а потом встаёт и начинает говорить — горячо и убеждённо. В такой момент он напоминал мне тот самый Засадный полк. Ну а уж когда дело доходило до драки, я знал, на него можно положиться.

Но так происходило до той поры, пока на горизонте не появлялась симпатичная девушка. Здесь Олега точно подключали к току высокой частоты, он начинал говорить, говорить, уделяя всё внимание невесте откуда взявшейся особе.

— Да он на них действует, как удав, — бормотал Валера Карасёв, понимая, что даже с фотоаппаратом соперничать с Пащенко в женском вопросе — пустое дело. Действительно, это было так. Многие наши студентки с курса, да и наша методистка Лидия Владимировна Носанова, были влюблены в Олега. При этом, уже начитавшись классиков, ссылались на Бунина, считая, что тот в «Тёмных аллеях» сделал женщину самым ярким и привлекательным объектом природы, которая существует не сама по себе, а только в одном предназначенном ей качестве. И сходились, вернее, соглашались с поэтом Василием Фёдоровым, который точно определил, что «по главной сути жизнь проста: ее уста, его уста...».

— Не умею я просить женщин, — как-то в особо доверительные минуты признался Виктор Астафьев Олегу.

— Так женщины первыми и не просят, — говорил Пащенко. — Если пришла, говорит и улыбается, желая понравиться, то, уверяю, она пришла к вам не в шахматы играть. Никогда не пытайтесь понять женщин, пользуясь своими мужскими мерками, обязательно ошибётесь. На то они и женщины! У них своя логика, вернее, полное её отсутствие. И мы их именно за это и любим...

Его слова были спорны, и я бы даже сказал, обиденные в своей простоте о причинах нелогичного поведения женщин, которые, говоря нет, подразумевают да. А бывает пытаются казаться слабыми и беззащитными, когда им это надо.

— Да, в жизни нам иногда приходится грешить, а потом каяться, — признался Олег.

— А ты не хитри и не говори себе: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, — останавливал его Астафьев. — Давай лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживём ли до завтра. А уж если и согрешим, всё равно ответ за сделанное будет один. — И надолго замолкал...

Ну чего тут скажешь! Виктор Петрович грешил, может быть, больше чем другие, и частенько сам себе отпускал грехи, считая, что, став писателем, он тем самым как бы обрёл право обличать грешников, при этом все знали, от собственных прегрешений он убивать себя не станет.

Слушая его, я начинал понимать, почему в книге «Зрячий посох», посвящённой критике Александру Макарову, Виктор Петрович усадил себя за стол, кото-

рый располагался не на берегах Чусовой, а, как он образно выразился, посреди России. С такой высоты было удобно, и даже вполне безопасно громить и клеймить скопом (кстати, без фамилий и имён) всех чиновников и казнокрадов,

Quod licet Jovi, non licet bovi — Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, — бывало говорил нам на лекциях Леонид Ермолинский. И хотя мы были студентами, в голову нет-нет да и приходила крамольная мысль: а можно ли все-му верить, что написано и нацарапано пером, ведь, как утверждал Фёдор Тютчев, мысль изреченная есть ложь. Осмысливая прочитанное, я начинал сомневаться в том, что мне казалось основой всего, а тут выходило, что любовь и грех — фактически, одно есть продолжение другого, они, что родные сёстры, которым заткнули уши, усадили за один стол, мол, сидите и помалкивайте.

* * *

Потом Астафьев переехал в Красноярск, и мы познакомились ближе, он стал чаще приезжать к нам в Иркутск. Однажды на целую неделю я пригласил его с женой Марией Семёновной к себе в деревню Добролёт. Вместе с нами туда поехал Олег Пашенко и главный редактор «Советской молодёжи» Геннадий Сапронов. Там мы с Виктором Петровичем ходили на охоту, а по вечерам Астафьев пел песни Рубцова, а после были долгие, за полночь разговоры о жизни и о войне...

Слушая Астафьева, я ловил себя на мысли, что мне совсем не нравятся оценки, которые он даёт, сравнивая немецких и наших солдат. Выходило, что немец обстоятелен, запаслив, обустроен в окопах и моторизирован на марше. У него всё продумано и просчитано на несколько шагов вперёд. Наш же чаще всего в обмотках, неряшлив, безалаберен и сиротлив. Холодный и голодный, мокнет, месит грязь по дорогам, жуёт то, что попадетсЯ... Такого можно только пожалеть. Генералы и офицеры вообще бестолковы, грубы, им наплевать на человеческие судьбы. А вот немецкого фельдмаршала Манштейна Астафьев просто боготворил. Говорил, что, осаждая Севастополь, Манштейн не только держал взаперти огромную группировку наших войск в Крыму, но и, по его словам, успел «сбежать» и взять Керчь, сбросив генерала Кулика в море, а потом разобрался и с Октябрьским, который в июне сорок второго, когда стало ясно, что Севастополь придётся сдать, бежал с офицерами штаба из города на самолёте, сбросив подчинённых, переодевшись в гражданскую одежду. Оправдывая его тогда, я думал, что Астафьев говорит о наших промахах с мыслью, мол, надо учиться воинскому делу у более умелого противника.

Конечно же, беседовали о чём можно и о чём нужно писать. У каждого был и продолжал накапливаться свой опыт. А строительный материал был один — слово. Чехов утверждал, что, «...написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать... Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал».

Почти про всех ушедших писателей обычно говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия... Но в действительности всё было сложнее...

«Ещё никогда и никому не прощалось, если в своём деле он вырывался вперёд. Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других ты выскочка, и больше

всех его ненавидит тот, кто идёт следом», — признавался Валентин Распутин в «Уроках французского». Впрочем, и самому Распутину не могли простить даже кружку молока, которую он покупал на деньги, выигранные у своих дружков в чики. И даже когда стал известным и востребованным, не без умысла намекали, что мог бы и поделиться...

Я вспоминаю, что Валентина Распутина куда только не пытались поставить! Несколько раз предлагали возглавить Иркутский Союз писателей. Но каждый раз он благоразумно отказывался. Ну разве можно возглавлять писателей?! И всё же на собраниях коллеги назначали его главным по связям с московскими издательствами и журналами — Валя там везде свой и при случае протолкнёт и наши рукописи.

А-а-а, нет, не проталкивалось! В дело вступало правило естественного отбора, столичные журналы и издательства продолжали печатать Распутина, Марка Сергеева, Шугаева, а другим присылали, как тогда было модно говорить, «похоронки».

К 1980 году у Олега вышло несколько рассказов, а повесть «Родичи» готовилась к печати в издательстве «Современник». Желая поддержать своего младшего товарища, Виктор Петрович написал ему рекомендацию в Союз писателей России. В том же году я познакомил Пащенко с ответственным секретарём по работе с молодыми авторами Союза писателей СССР Юрием Лопусовым, и тот пригласил нас в Свердловск на совещание молодых авторов. Там мы впервые увидели рослого, с ржаной шевелюрой, секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина. Собрали молодых писателей со всего Советского Союза. Приехали поэт из Чернигова Дмитро Иванов, прозаик из Курска Миша Еськов, поэт Михаил Зайцев из Волгограда и прозаик и драматург Юрий Поляков, ставший впоследствии главным редактором «Литературной газеты». Там обратила на себя красивая и яркая блондинка, сотрудница «Литературной газеты» Слава Торощина. Она мёртвой хваткой вцепилась в секретаря обкома, стараясь завоевать доверие у первого лица области. И Ельцину она понравилась. В своём приветственном слове к участникам совещания, вручая нам книгу «Каслинское литьё», Борис Николаевич отметил её шелковистые, пшеничного цвета волосы и собственноручно вручил Славе книгу. Потом мы прочтём отчёт Торощиной о поездке, о встречах на Уральской земле, где она высказала свой либеральный критический взгляд на молодую отечественную литературу.

— Посмотри, как ловко и расчётливо она всех нас поделила на наших и не наших! — поразился Олег, прочитав размышления Торощиной.

— Зато вся читающая Россия теперь узнает о первом секретаре.

— Ты имеешь в виду Бориса Николаевича?

— Леонид Ильич уже порядком надоел. Всем нужен новый и молодой, но и его они быстро приберут к рукам. Поглядывающему на Запад московскому человеку нужен свой человек. А ещё нынешняя молодёжь мечтает пить кока-колу, жевать бургеры и ходить в «макдональдс».

После Свердловска мы через Москву поехали в Углич, Суздаль и Владимир, чтобы посмотреть, чем живёт Нечерноземье. Любовались храмом Покрова на Нерли, затем экскурсовод показала нам Золотые ворота во Владимире и место, где был убит Андрей Боголюбский. Подивились непредсказуемости и жестокости нравов русской истории (мы тогда ещё не знали, что она пишется каждый день, и

нам придётся это увидеть и на своей шкуре прочувствовать). В русской истории ещё не написана последняя глава...

Вечером в саду за чаем с комсомольскими работниками и разговорами о всемирной отзывчивости русского человека мы слушали, как где-то неподалёку вечернюю тишину разрезают пулемётные очереди. Хозяева сообщили, что это на полигоне пристреливают оружие в Коврове. Тогда я ещё и не предполагал, что в девяносто третьем такие же очереди услышу в Москве у стен Белого дома...

Наши очерки и впечатления о поездке были напечатаны в книге «Мы молодые», которая, как и предполагалось, была выпущена в издательстве «Молодая гвардия».

Из поездки по старорусским местам мы вернулись в Москву, где с утра услышали о неожиданной смерти Высоцкого. Все говорили о нём, в метро, на улицах, в магазинах. Олимпийская столица была немногочлюдна, чиста и опрятна, не было обычных очередей, и можно было спокойно купить невиданный ранее финский сервелат и коробки конфет, и даже редкое по тем временам «Птичье молоко». Позже москвичи с иронией скажут, нам не надо коммунизма, оставьте нам на всю оставшуюся жизнь Олимпийские игры и заполненные товарами прилавки магазинов.

— Всё в жизни имеет своё начало и свой конец, — изрёк я, поглядывая на принаряженных в белые рубашки московских милиционеров. — Завтра вся Россия бросится в Москву, скупать колбасу.

— А некоторые приедут, чтобы побывать на могиле Высоцкого. Всё проходит. Только об одних забудут на другой день, а о писателях и поэтах, я имею в виду настоящих, будут говорить и помнить ещё долго, — задумчиво ответил Олег.

К вечеру мы с большим трудом (по звонку Юрия Лопусова) устроились в гостинице Литинститута. Разворачивая простыни, Олег обнаружил на одной из них зажёванную стиральной машинкой огромную дыру:

— Давай на секунду представим, что в Москву приехали Астафьев с Распутиным и их бы уложили спать на драные простыни!

— Ну, если честно, то и они не всегда спали на простынях, — посмеялся я.

— Вот я иногда смотрю на Виктора Петровича... детдомовец, не один раз битый и перебитый, фактически выросший без отца и без матери. А вот везде становился душой компании, — улыбнулся Олег.

— Сегодняшний Виктор Петрович уже привык быть посреди России, — пошутил я. — А мы вот сидим посреди Москвы, и слава богу, что не на вокзале. Жить можно! Вон, в соседнем номере пьёт пятизвёздочный кумыс Давид Кугультинов.

— А-а-а! Это тот, который считает, что именно его имел в виду Александр Сергеевич Пушкин, когда писал: «Слух обо мне пойдёт по всей Руси великой, / И назовёт меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык».

— А что там Пушкин сказал про нас? — поинтересовался я.

— Что мы ленивы и не любопытны, — пошутил Олег.

— Мы ещё ничего не сделали, но уже ворчим, подавайте и нам глаженные простыни, и коньяк...

— Ничего, обойдёмся, — ответил Олег и тихо стал напевать:

*Спите, братцы, спите,
Всё вернётся вновь,
Всё в природе нашей повторится.
И слова и пули,
И любовь и кровь,
Времени не будет помириться...*

Сегодня, оглядываясь на те безмятежные дни, когда жизнь можно было планировать на годы вперёд, я думаю, что те поэтические строчки Булата Окуджавы оказались пророческими. Так и произошло между Распутиным и Астафьевым. Уже когда не стало Виктора Петровича, Распутин с Валентином Курбатовым и Геннадием Сапроновым после поездки по мёртвой и всё ещё живой Ангаре заехали в Овсянку, постояли на могиле у своего старшего товарища. Вот уж действительно времени не нашлось, чтобы помириться при жизни...

В восьмидесятые годы Виктор Петрович Астафьев мог позволить себе многое. Износившаяся и отяжелевшая власть подыгрывала, ублажала известного писателя, разрешала говорить то, за что другим, тем, кто помельче, попросту «отрывала» головы. Выходило, надо было говорить и писать так, чтобы твое слово было услышано по всей России. Но и за её пределами. Но не у всех это получалось.

Иркутский писатель Евгений Адамович Суворов как-то обмолвился, что под деревом, которое взрастили над Валентином Распутиным, трудно чему-то вырасти. Попробуй за его раскидистой кроной разглядеть кого-то ещё...

Возможно, в чём-то Суворов был прав, поскольку с Распутиным они начинали вместе и, будучи студентами, жили в одной комнате. Что ж, у каждого свой путь и своя судьба. Кстати, сегодня многие, кому Валентин Григорьевич давал рекомендацию о приёме в Союз писателей (таких в Иркутске было раз-два и обчёлся) или делал дарственную надпись на книгах — а он всегда это делал добросовестно и писал пожелания от души, — гордятся, что у них есть его автограф.

* * *

В 1983 году состоялась наша поездка с Олегом на семинар в Пицунду, куда нас из сибирского холода и хляби вытащили заведующий аппаратом ЦК комсомола Михаил Кизилев и всё тот же Юрий Лопусов.

Вёл семинар главный редактор «Роман-газеты», историк и писатель Валерий Николаевич Ганичев. Во время второй поездки в Пицунду, уже без меня, Олег Пашенко предложил его дочери Марине Ганичевой собрать молодых авторов на Енисее. Марина, работающая в ту пору редактором в издательстве «Молодая гвардия», поддержала его и порекомендовала Олега стать составителем сборника. И он, со свойственной ему расторопностью, приступил к делу, разослал по стране письма с предложением и просьбами присылать ему в Красноярск рукописи.

Сегодня, вспоминая те дни, мы иногда с грустью шутим, что пришли к Ганичевым кучей, сегодня же остались единицы. До сих пор я смотрю на Марину с восхищением, удивляюсь её умению ставить задачи, которые многим кажутся сложными и неподъёмными, и добиваться их выполнения. Но она каким-то чутьём и наработанным опытом знает, кто может справиться. Добавлю, что после развала издательского дела она вместе с Сергеем Ивановичем Котькало сумела наладить выпуск книг, журналов, сборников поэзии, и вот уже почти пятнадцать лет проводит Международные Ушаковские сборы, московский конкурс «Гренадёры, вперёд!», которые проходят в разных странах и городах, фактически не имея стабильного государственного финансирования, помещения и положенного в таких случаях штата работников. Вот и пойми этих женщин! Марина, как и Анна Ахматова, сена не косила, воду на коромысле не носила, а скольким молодым и талантливым ребятам со всей России, и не только России, но и родной ей Украины и Белоруссии, открыла великие тайны русской истории и силу русского слова...

— Всё делается с помощью Божьей, — отвечает она, когда разговор заходит о её нынешней работе.

— Вот мы всё пишем, пишем, перевели тонны бумаги, вырублены целые леса, но в человеческом стаде больных меньше не стало, — молвил как-то ставший умелым книгоиздателем Толя Статейнов. — А вот давайте на минуту представим, что нас не станет. И куда пойдут наши книги?

— Но давайте тогда будем молчать, — ответил Олег. — А кто восстановит картину того, что происходило в России, да и во всём мире в наше время?

Я вспомнил, что в его первой повести «Родичи» есть картинка: поезд протягивает себя сквозь темень, снег и ветер. Прочитав, я подумал, что все мы, пишущие, как бы протягивали себя сквозь ветер, снег, житейские неурядицы, непонимание, а порой и клевету тех людей, с которыми долгое время шли бок о бок по жизни.

— Подмечено, что радеющие за народ писатели, добившись признания и славы, авторитета, не прочь их использовать, как стало модно говорить ныне, конвертировать в рубли, — не унимался Статейнов. — Ещё никто из великих не отказался от премий. Даже Распутин взял премию лагерного сидельца Солженицина.

И с чувством продекламировал:

*На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!*

— Есть такое... — согласился я. — Книгоиздатели, в том числе и ты, сегодня с удовольствием печатают того же Астафьева и Распутина.

— Потому что у читателей есть на них спрос. — ответил Анатолий. — Мы и тебя издаем. Недавно вышел «Чёрный Иркут».

— Был у нас один известный журналист, который с иронией говорил: вдохновение ко мне приходит каждый раз, когда в шелесте пера я слышу шелест ассигнаций, — засмеялся я и добавил: — Человеческую природу не обманешь. Вспомните, как Иисус обратился к толпе, желающей разорвать грешницу, сказав им: тот, кто без греха, пусть первым бросит в неё камень. И толпа разошлась... Есть резон спросить, а кто там судьи и чего они хотят, показывая на тебя пальцем?

* * *

В начале тёплого октября 1989 года большая группа писателей, которая прислала составителю Пащенко рукописи для общей книги «Моллю прощения», приехала в Красноярск. Конечно же, все хотели встретиться и поговорить с Астафьевым. Олег договорился с Раисой Гостевой, возглавлявшей городской отдел культуры, чтобы гостям выделили большой автобус, и мы все вместе покатали в Овсянку на речку Ману. По дороге заехали в Академгородок и забрали с собой Виктора Петровича. Попутно посетили кладбище, где в августе 1987 года была похоронена дочь Астафьева Ирина, тело которой привезли тогда Виктор Петрович и Олег из Вологды. Положили цветы, постояли у огромной, литой из металла оградки. Светило солнышко, воздух был прозрачен и по-осеннему свеж, уже наполовину с берёз опал жёлтый лист и сухо мялся под ногами, как бы подсказывая, что всё на земле тленно и временно. Пока Астафьев собирал с могилы лист, мы тихо пошептались, предположив, что Виктор Петрович предусмотрительно отго-

родил землю и для себя. Затем заехали в дом, где летом он уединялся для работы. Но и там задержались недолго, сорвали несколько уже подмороженных ранеток, походили по двору, так и не попив чаю, и вновь покатали дальше напрямик к Анатолию Буйлову. Астафьеву больше нравилось быть званым гостем, чем гостеприимным хозяином.

Буйлов строил прямо на берегу Маны огромную теплицу, рядом рыл котлован под подвал, а малолетние сыновья помогали. Когда я подошёл к краю и заглянул вниз, то в голове мелькнуло, что Толя решил вручную одной совковой лопатой выкопать такой же котлован, в которых на якутской земле добывали алмазы. Я уже знал, что он спроектировал подвал для хранения сельхозпродукции, которую он собирался получать со своего огромного огорода и теплицы, и, по его прикидкам, запасов в нём должно было хватить на всю красноярскую писательскую организацию. Землю Толя кидал снизу на один уступ, с него на другой, и лишь только после этого выбрасывал лопатой на поверхность. Каторжный труд. А далее его пацаны на маленьких тачках развозили землю по огороду. Толя сказал, что у них нормированный рабочий день, и вечером он выдаёт каждому заработанные рубли.

— Мы пишем повести и рассказы, а вот у Буйлова эпический замах, везде и во всём! — поражённый открывшейся стройкой, сказал я Пашенко. — Уже выдал «Большое кочевье», «Тигроловы», теперь пишет «Дебри». А возможно, напишет ещё и «Котлован» — о крепком русском хозяине, который накормит всю Россию.

— Посмотрим... — с какой-то неопределённостью в голосе ответил Олег.

Нам показалось, будто Буйлов не ожидал, что к нему на дачу нагрянет столько гостей. В ту пору мобильных телефонов ещё не было, и предупредить о приезде было невозможно. Сопровождавшая писателей Гостева прихватила с собой торт. Но пока собирались, пока заезжали за Виктором Петровичем, затем на кладбище, прошло немало времени. И так как в планы Виктора Петровича не входило кормить такую ораву, то решили попить чаю у Буйлова и ехать обратно. Автобус остановился у крепкого, сколоченного из пилёных досок забора. Вся писательская братия, охая и ахая, разбрелась по участку смотреть грядки, заготовленные доски, брёвна, кирпич, затем расселась вокруг Виктора Петровича, и он начал кормить гостей своими таёжными байками. Буйлов, поднявшись из котлована, усадил свою жену Дарью чистить картошку, а сам вытащил из-под грубо сколоченного рабочего топчана мешок с гречкой, растопил печь и принялся варить кашу по-таёжному.

Каша поспела быстро. Буйлов достал из-под того же топчана ящик с тушёной, несколько бутылок спирта, начал разводить его, а мы дружно принялись вскрывать банки с тушёной, женщины расставили тарелки, кружки и разложили возле каждой ложки. Места за грубо сколоченным длинным столом хватило всем, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вскоре после первого тоста, который был предоставлен Виктору Петровичу, все, в том числе и женщины, хватили спирту за гостеприимных хозяев, за сибиряков, за Виктора Петровича. Как говорят, война войной, а есть-то хочется. Позже все решили, что вкуснее таёжной каши, приготовленной матерым Буйловым, никто и никогда не ел.

Темнело. Гости с песнями расселись в автобусе, и я вдруг, глянув в окно, увидел, как Буйлов построил у заплота всю свою семью и они дружно начали махать ладошками, прощаясь с гостями. Но гостям было уже не до них: все были сыты, пьяны и, как говорится, мыслями в дороге. Виктор Петрович вновь вспомнил Колю Рубцова и запел:

*Потонула во тьме
Отдалённая пристань.
По канаве помчался —
Эх! — осенний поток...*

Вот так с песнями через час мы были уже в Красноярске.

Позже мне Олег обмолвился, что тот ящик с тушёной он привёз Буйлову накануне. А в 1992 и 1993 годах к Олегу, как основателю «Красноярской газеты», один за другим приезжали на два-три дня Виктор Алкснис, Эдуард Лимонов, Владимир Жириновский, Александр Стерлигов, Михаил Астафьев, Владимир Исаков, Илья Константинов, Нина Андреева, Светлана Горячева, Александр Проханов, Сергей Кургинян, Тадеуш Касьянов. Многих из них Олег возил в Овсянку к Буйлову посмотреть на живого тигролова, послушать его таёжные рассказы, проекты и проекты, связанные с планами по обустройству загородного гнезда.

Приезжая в Иркутск, Толя и мне показывал чертежи теплицы, бани и огромного дома, которые он собирался построить на берегу Маны. С его слов я знал, что он построил в дальневосточной тайге уже не одно зимовье, и верил, что Буйлов способен и на этот подвиг. Но оказалось, не стоит этого делать. Позже произошло непредвиденное: под тяжестью выпавшего снега обвалилась стеклянная крыша гигантской теплицы. При расчётах перекрытия, как потом отмечал Толя Статейнов, не хватило Буйлову грамотёшки. Затем начались семейные неурядицы. После развала страны честные и правдивые писатели стали не нужны власти, ручеёк гонимых усох, оставалось одно — идти по миру с протянутой рукой. Приехавший в Красноярский край генерал Лебедь выделил Толе трёхкомнатную квартиру в Дивногорске, и на этом дверка захлопнулась. Пащенко чем мог пытался помогать Буйлову: давал деньги, возил к нему известных людей. Но нельзя пережить за человека его нескладную жизнь. Растерянный Буйлов, заблудившись в бытовых и жизненных дебрях, ушёл от Дарьи, от собственных детей, и уже с новой, молодой, но пьющей женщиной, уехал в Тайшет, чтобы усыновлять и высиживать, как таёжная кукушка, чужих детей, и, как выяснилось чуть позже, это стало его последним кочевьем...

* * *

Мне запомнилась одна из самых грустных встреч с Распутиным в Иркутске. Был поздний осенний вечер. Свернув под арку, заметил впереди идущего пожилого человека. Обгоняя его, я неожиданно для себя увидел, что это, тяжело шаркая подошвами, бредёт Валентин Григорьевич. Я осторожно дотронулся до его плеча.

— А, это ты, Валера, — узнал он меня. И, помолчав немного, добавил: — Помнишь, ты мне рассказывал, как тяжело давались Василию Ивановичу Белову госдумовские ступеньки. Теперь вот и я запинаясь о бордюры.

Проводив его до подъезда, я пообещал, что через пять минут заскочу, и побежал в ближайший магазин за тортом. Дверь в квартиру мне открыла невестка и, оглянувшись, крикнула:

— Валентин Григорьевич, это к вам! — И быстро упорхнула в соседнюю комнату. Обычно Валентин встречал меня и сразу же шёл на кухню заваривать чай. Здесь же я застал его одиноко сидящего на стуле в большой, заставленной книгами комнате. Кивнув в сторону, где слышался смех молодой невестки, он с горечью изрёк:

— Жениться надо один раз! Всё остальное от лукавого.

Я удивлённо глянул на него, мне показалось, что он сказал это даже не себе, и не мне, а кому-то невидимому, сказал — и сам себе не поверил. Как будто хотел остановить самого себя, отгородиться от своего холодного одиночества, от того, чего уже нет и не будет... И тотчас же вспомнилось, как однажды я приезжал к Валентину на дачу. Хотя было солнечно и тепло, на нём были измазанные глиной кирзовые сапоги и старенькая, выдавшая виды фуфайка, видимо, с самого утра копал грядки на огороде. Угостив меня чаем, он сказал, чтоб я отдыхал с дороги, а он закончит работу в огороде. Я пошёл за ним следом. Углядев, что в двери хлябает ручка, я решил поменять шарниры. И тут приехала ещё прежняя невестка, занесла в дом сумку, затем вышла во двор, глянула на стоящее над крышей солнце, растелила на лужайке одеяло, достала книжку, разделась, прилепила на нос листок, чтоб не обгорел, и улеглась загорать.

Распутин глянул в её сторону и с еле заметной улыбкой пошутил:

— Ну вот, кажется, все при деле.

Здесь же, в заставленной книгами, но пустой и полутемной комнате, глядя на одиноко сидящего Распутина, мне на ум пришли строки Михаила Юрьевича Лермонтова «Я б хотел забыться и заснуть!» Но как тут заснёшь или отгородишься от мира? Телефон звонит, просят прийти, поприсутствовать, сказать слово... Звонят уже не человеку, приглашают имя, чтобы поднять повыше планку предполагаемого мероприятия. Собственно, то, к чему он сознательно шёл долгое время. И что в итоге? Казённые радости, даже не радости, а повинность — иди сиди, слушай, когда и сидеть невмочь. Слушать чужое, пустое и ненужное, когда не только сознание, но и сердце уже не откликается — молчит, точно его нет вовсе, немое, готовое к неизбежному. Вообще-то литература, как птичка, ловишь её, кажется, вот она у тебя в руках! Схватил крепко и придушил, а если чуть-чуть приотпустил — выпорхнет, только её и видели!

Я понимал, что в эту позднюю минуту ему хотелось бы немножечко тепла, участия, душевного, ни к чему не обязывающего разговора — то, что раньше могла дать жена. Но Светлана Ивановна уже смотрела на него с той недостижимой высоты, а он сидел посреди комнаты на стуле, один на один с тишиной и самим собой. На что решиться, где и в каком месте найти приют?..

Перед развалом страны Распутин написал две повести: «Прощание с Матёрой» и следом «Пожар». В центре повествования была всё та же ангарская деревня и те впечатления, которые подпитывали писателя всю жизнь. Тему жителей города он затронул разве что в своём последнем большом произведении «Дочь Ивана, мать Ивана». Как сказала мне однажды учительница литературы, «прочтёшь такое и тошно станет от нашей безысходности и человеческой злобы».

Следом Астафьев выдал «Печальный детектив» и «Людочку». Пригвоздил брежневскую эпоху, как определил один из критиков новые творения Виктора Петровича. Позже мы поймём, что это уже были подступы к «Проклятым и убитым». Когда в стране начался слом, Астафьев переобулся на ходу, ему, уже привыкшему быть во главе стола, хотелось продолжения банкета, почестей и наград. Пашенко с его позицией, что всё покроется любовью, его «Красноярской газетой», где чётко прослеживалась позиция по сохранению государства, ему стал не нужен. Испугался всенародно любимый и, чтобы его не тронули, готов был написать или подписать любое письмо. Что и сделал в открытой печати в 1993 году.

Распутин оказался крепче и честнее, хотя и ему было что терять...

Вообще отношения между писателями, впрочем как и вообще между людьми, не бывают равными. Об этом мы нередко говорили с Олегом, поглядывая на тех, кто шёл впереди нас.

— Никогда не приближайся к великим, — говорил я ему, когда он рассказывал о своих непростых, близких отношениях с Виктором Петровичем. — Виктор Петрович непрост, такой может пройти и раздавить мимоходом.

Много позже, став депутатом Верховного Совета, я перееду жить и работать в Москву. Там мы с Распутиным будем встречаться часто, поскольку Валентин был депутатом СССР, и даже некоторое время — советником самого Горбачёва. После расстрела Белого дома мы неожиданно окажемся в похожей ситуации, в тех служебных московских квартирах, в которых проживали. И он, и я, и другие депутаты, которые не побежали к Ельцину, попали в чёрные списки. Месть существующей власти была мелкой и жесткой: у нас в квартирах отключили свет и телефон. Мало того, был ночной визит омововцев, которые сопровождали человека в черном плаще с требованием в трёхдневный срок освободить квартиру. Мы с женой собрали вещи, но для переезда обратно в Иркутск нужны были деньги, а их взять было неоткуда. В те же дни я узнал, что смогу вновь сесть за штурвал самолёта — и там в Иркутске подло, по-мелкому решили отомстить мне, сказав, уж больно высоко взлетел. И попал в чёрный список. Теперь это твои проблемы! Мир, конечно не без добрых людей, деньги мне предлагали Василий Иванович Белов, Валерий Николаевич Ганичев, Валера Исаев. Но жить на подаяния — последнее дело. Я узнал, что Никита Михалков позвонил мэру Москвы Лужкову и сказал, что такого позора, когда у всемирно известного Распутина отключают свет и телефон, он не встречал. И к нам в квартиру начали наведываться корреспонденты западных газет, снимая собранные в узлы вещи и сидящих на них моих сыновей. Ночные визиты незваных гостей прекратились, но от этого денег дома не прибавилось.

Узнав, что неподалёку в парке начали выпиливать порченые, подгнившие деревья, и вспомнив, что у себя в Добролёте для топки печек мне не раз приходилось пилить на чурки брёвна из сосны и лиственника, я пошёл в парк, посмотрел, поговорил с рабочими и напросился на работу. Меня проверили: попросили отпилить пару чурок — и о чудо! Взяли! Конечно, ручки «Дружбы» хоть и напоминали самолётный штурвал, однако работа была, прямо скажу, тяжёлой, как на лесоповале. Помню, как после первых заработанных рублей я пришёл домой пропахший бензиновой гарью и протянул деньги — платили исправно, в конце рабочего дня. Полмесяца я резал на чурки подгнившие вековые дубы и клёны — всё, на что укажет бригадир. Некоторые чурки были по метру в диаметре. Присев на одну из них отдохнуть, я насчитал более сотни годовых колец. Значит, некоторые из деревьев были посажены ещё во времена Российской империи. И вот сгнили.

Распиленные чурки отвозили на машине в строившийся здесь же в густом дубовом парке «Грузинский дворик», а чуть подалее, в глубине за высоким забором, ударными темпами без пыли и шума было отстроено ещё одно гнёздышко: охрана в камуфляже, автоматический шлагбаум, пароль, сладкий запах шашлыков и дымок высокой трубы. Позже я узнал, что туда для улады на ночь привозили элитных проституток. Удобно, в центре Москвы, почти в лесу — ни шума тебе, ни внезапных проверок, за всё уплачено.

Я сидел на чурке, смотрел на красноватый, будто подмоченный кровью ду-

бвовый срез, на котором отчётливо были видны годовые кольца, и думал: хорошо ещё, что нахожусь не в зоне, и вспоминал «Ловлю пескарей в Грузии», написанную Астафьевым незадолго до развала нашей большой страны. Повесть вызвала на съезде настоящую истерику у грузинских писателей, и первым, кто поддержал своего старшего товарища, был Валентин Распутин. Он вышел на трибуну и сказал, что мы живём в одном доме и должны прислушиваться к тому, что говорят близкие люди. Тогда мы ещё не понимали, что близкими мы уже давно не были. И нечего ждать сочувствия и понимания от наших южных коллег по перу.

«...Грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника, — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного ещё сохранился лоточек, но этот последний родник, — горевал Астафьев в своей повести, — на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом гусеницей заткнувшим его жёлтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать. Наверху, на утёсах, под видом окультуривания леса, обрубили, оголили камень, издырявили бурами всё вокруг, отыскивая дешёвую быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймёшь, не разберёшь, кто, чего, и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пёстренький летом, а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглохшую, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением оставленную, никому не нужную, забытую...

...Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? — восклицал в своей повести «Ловля пескарей в Грузии» Виктор Петрович и предлагал: — Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не кутивших вино, а скупивших всё это по дешёвке у селян; если им об этом скажут, отошлют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: „Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!“ Они не читали книжку про тебя, Витязь...»

Повод вспомнить Астафьева у меня был. На другой день после расстрела Белого дома в газете «Красноярский рабочий» была напечатана статья «Пора работать!». Она была названа в духе передовиц времён Советского Союза. В ней Виктор Петрович посвятил несколько строк и моей персоне:

«...Писатель (да и не писатель, а всего лишь член Союза писателей из Иркутска) — пробившийся в депутаты. Бывший летчик, отец детей, еще полтора года назад своим бывшим товарищам заявил: «Мы скоро вас всех перевешаем!...»

Досталось и моему другу, бывшему младшему «брату» Астафьева Олегу Паченко.

«...А здесь у нас в Красноярске была явлена народу так называемая народная «Красноярская газета», которую здешние, не потерявшие ума журналисты на-

звали «Подворотней». Сделана она была московскими гостями-реванистами, перепечатающая статейки из «Дня», «Советской России» и из тому подобных грязных листовок...»

Красноярцы рассказывали, что Астафьев в те октябрьские дни прилетел в Россию из-за границы. Летел, заглядывал в самолётное окошко и думал, что вот эти Пашенки-Кашенки встретят его, всенародно любимого, возьмут возле трапа самолёта под белые ручки, отведут к забору и расстреляют. Ну что тут скажешь, перепугался до икоты. И от этого начал пугать других. Когда был на фронте, ему терять было нечего, кроме собственной жизни. Теперь было что терять: столько лет строил пирамиду-музей собственного имени, и всё могло рухнуть в одночасье! Да пусть развалится всё: страна, отношения, погибнут люди — не жалко. А вот себя... Только в большой голове могло родиться, что Олег Пашенко, которого он в те дни стал называть «Кашенко», якобы собирается упечь его и Марию Семеновну в лагерь... Запомнилась наша последняя встреча с Виктором Петровичем во время съезда писателей, проходившего летом девяносто второго года уже не в Колонном зале Дома Союзов, как это бывало раньше, а в Доме киноактера, в маленьком и тесном зале. Мы сидели в самом последнем ряду, на разошедшихся креслах, и он вдруг начал жаловаться и обвинять во всех грехах «красного» Пашенко. Я вдруг понял, что он хотел бы склонить и меня на свою сторону.

— Виктор Петрович, а вы что, раньше не знали об этом? — стараясь говорить как можно мягче, прервал его я.

— Ты его ещё не знаешь, настоящего! — вспыхнул он.

— Значит, надо понять и простить, если он в чём-то согрешил. Вы же сами когда-то говорили: «Давайте лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживём ли до завтра. А уж если и согрешим, всё равно ответ за сделанное будет одним». И поскольку Олега здесь нет рядом с нами, то давайте закроем эту тему, — заступился я за друга.

Астафьев зыркнул на меня глазом, встал и, не попрощавшись, боком-боком полез вдоль кресельного ряда к выходу. В тот момент мне почему-то вспомнилось, как он уходил из президиума съезда после выступления Распутина. Тогда он шёл, высоко держа голову, здесь же — сутулясь и ни на кого не глядя, шаркал по полу плетёными штиблетами. И я понял — наши пути с ним разошлись. Навсегда...

Кстати, во время октябрьских событий девяносто третьего года мне было приятно видеть, что сидевшие у костров пришедшие защищать Конституцию к стенам Белого дома читают «Красноярскую газету», основателем и главным редактором которой был Олег Пашенко.

«Пора браться за работу!» — призывал Астафьев на страницах «Красноярского рабочего». Выходило, что до этого дня страна прохлаждалась, травила анекдоты, писатели ездили, гуляли, веселились, срывали аплодисменты у благодарных читателей. Всё, пора с этим кончать! За работу, господа! Начало положено: согнанные со всей страны, наколотые и напоенные Гайдаром омовцы своё отработали, пустили кровь из собственного народа, пришедшим на защиту Дома Советов. Теперь надо, не теряя темпа, довершить начатое и добить «гадину». Писатели уже наточили свои перья и обратились с призывом к всенародно избранному. И накатали письмо, которое Астафьев подписал, а позже начал вливать, мол заставили или подставили без его согласия. Что ж, Бог ему судья.

«Так когда же ты был, Виктор Петрович, настоящим? Когда говорил обо мне на камеру, приезжая в Иркутск, или сейчас?» — думал я, прочитав присланную

мне газету «Красноярский рабочий». Заныли, вновь заболели выбитые прикладом омовца зубы. Да что зубы! Как вместить ту боль, которая обрушилась в те дни на Россию, как жить с нею дальше?..

Вспомнил тела молодых ребят, лежавших на мраморных плитах в приёмной Белого дома, чьи головы с запёкшейся кровью были, как вспоминал Астафьев о той войне, в которой он участвовал сам, действительно похожи на невытую картошку. Только убиты они были не немцами, а своими же, по приказу полупьяного владыки некогда великой страны, в чёрные дни октября 1993 года. И уже не сдерживаясь, так же по-нашему, чтобы понять: ответ не заставит себя ждать, я послал в Красноярск телеграмму.

ТЕЛЕФОНОГРАММА ИЗ МОСКВЫ
КРАСНОЯРСК ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ

Вполне обдуманно и мстительно вы оскорбляете меня и других людей в недавней доносительной заметке в вашем «Красноярском рабочем», которую с готовностью перепечатала московская «Литгазета». Приписали мне для чего-то слово «вешать». Откуда взяли это? В моём лексиконе нет этого слова «вешать», у меня растут сыновья, растёт внучка. Как вам не совестно, Виктор Петрович? Доживаете с таким адом в душе — это страшное наказание. Одумайтесь же, старый больной человек. Захлёбываетесь в злобе и ненависти, сеете раздор и безобразие. Люди когда-то уважали Вас. А Вы в своих последних писаниях настойчиво, как упырь, желаете свежей тёплой крови. Наконец-то она по вине любезной Вам президентской власти пролилась в Москве. Так умойте же её!

Валерий ХАЙРЮЗОВ, русский лётчик, прозаик, народный депутат России
12 октября 1993 г.

Тогда, в те непростые для меня дни, я знал, что где-то рядом есть Валентин Распутин, есть Василий Белов. 3 октября на ступеньках Белого дома я встретился с Василием Ивановичем, который, коротко обняв меня, на первой же машине помчался «штурмовать» телецентр в Останкино. А два года спустя мы уже вместе с ним и с Валентином Григорьевичем Распутиным, по приглашению Президента Республики Сербской Радована Караджича, улетим в Югославию, где под пулями и снарядами проедем тысячи километров, побываем в окопах наших братьев сербов, где Распутин, сидя на ящике из-под снарядов, скажет:

— Никогда не думал, что побываю на войне — писатель должен видеть и знать то, о чём он должен рассказать своему читателю...

Сейчас, оглядываясь назад, я продолжаю ощущать, они были и остаются рядом, их поддержка и участие тогда и сейчас много значили и значат для меня...

В те роковые для России годы диссидент Александр Зиновьев с горечью скажет: «Мы целились в коммунизм, а стреляли в Россию».

Спустя много лет я начинаю понимать, что выбор мишени для Астафьева не был случайным. Своих — впрочем, я не уверен, что мы были для него своими — «мыслящий тростник», говоря строкой Фёдора Тютчева, он видел нас хворостом, который при случае можно бросить в топку. И вот такой случай представился. А ведь на высоту поднимали его в том числе и мы, когда, сидя у тёплой печки в Добролёте, с почтением внимали его рассказам и размышлениям...

Спустя годы от Олега Пащенко я узнал, что Виктор Петрович после расстрела

Белого дома предложил красноярским писателям исключить Олега из писательской организации, говорил, что было его большой ошибкой дать рекомендацию Пащенко в Союз. И что бы вы думали? Исключили!

Одной рукой миловать близких, давая им рекомендацию, а потом той же рукой изгонять! Сегодня всё это кажется смешным, чего только не сделаешь, когда в тебе поселилось старческое недержание. Ельцин однажды на большом совещании, оглядывая большой круглый стол, через губу сказал: «Не так сели!» Здесь же вроде похоже: не того приняли!

Незадолго до своего ухода Виктор Петрович признался, что, несмотря на все разногласия и ссоры, Олег был для него настоящим другом. Ну что тут скажешь!

В последние годы жизни Астафьев со всех экранов принялся ругаться и кричать, что руководители страны были сплошь негодяями, маршалы и генералы — бездарями, да и вообще у нас не народ — народец. Недаром говорят, доброе слово в тенёчке лежит, а злобное, как пёс, по дороге с лаем бежит. Спрос на злобу всегда найдётся. «Он же детдомовец, шпана, а в их среде жестокости много, — как бы оправдывая его, говорил Распутин. — Они слабого, как правило, добивают. Как только советская власть почилa в бозе, Астафьев, обидевшийся на неё за то, что она ему больше ничего дать не может, бросился добивать её по законам детдомовской стаи...»

В 1989 году после поездки на дачу к Буйлову, в последний день нашего пребывания в Красноярске, нас посадили на теплоход, и мы поплыли по Енисею. Понаехавшие со всей страны молодые, да и не очень, писатели толпились на палубе, все старались протиснуться и сфотографироваться рядом с Виктором Петровичем, многие не отходили от него, совали свои книги. Олег, с театрально повязанным на шее длинным красным шарфом, был в окружении молодых, красивых и талантливых женщин. Виктор Петрович по-отечески, одним глазом хитровато поглядывал в его сторону, и мне тогда показалось, что и самому Астафьеву был по душе весёлый, праздничный галдёж, и нравилось находиться здесь, как он любил говорить, на верхней палубе, посреди России.

Мы плыли на одном корабле, но ещё не знали, что каждый из нас плывёт в свою сторону...